

# Глава LIII

Рига! Вокзальная суматоха, чужая речь, смех, яркие огни — всё это сбивало с толку и усугубляло подхваченную мной в пути сильную простуду, а нам еще предстояло идти к Цветкову, нашему товарищу, работавшему в Советском транспортном отделении. Мы познакомились с ним и его прелестной супругой Марусей в Питере и сразу же подружились. По этой маленькой и нежной, словно лилия, женщине невозможно было сказать, что в своё время она вместе с мужем храбро вышла на защиту родного Петрограда от войск Юденича и была готова, если понадобится, умереть за революцию. Увы, так оно и случилось — страшная нужда подкосила ее здоровье, и Маруся умерла от тифа. После ее кончины Цветков не опустил рук и не утратил веру в наши идеалы, хотя ему приходилось зарабатывать на жизнь, обслуживая большевистский режим. Я не сомневалась, что он примет нас с распростёртыми объятиями, но содрогалась от одной мысли о новой встрече с тем, от чего мы только что сбежали: я уже не могла видеть людей и спорить с ними о том, что я уже для себя решила. Мне требовался отдых — нужно было отгородиться от прежнего кошмара и не думать об ожидающей впереди пустоте, поэтому мы сочли неразумным идти в гостиницу: там нас неминуемо бы узнали, особенно газетчики, а у Цветкова мы могли бы жить спокойно.

Первым делом мы решили написать об ужасающих условиях, в которых пребывали политзаключённые Страны Советов, и призвать анархистскую прессу Европы и Америки спасти их от медленной смерти. После почти двух лет вынужденного молчания мы должны были, наконец, подать голос, сделать первый шаг и выполнить то, что мы обещали этим несчастным — предать огласке грандиозный обман, рядившийся в красную мантию Октября.

Обнадеживали новости из Германии: тамошние товарищи занимались оформлением нам разрешения на въезд и были уверены, что всё получится, но на это требовалось время; поэтому нам приходилось постоянно продлевать латвийские визы на несколько дней, в итоге растянувшихся на три недели. Благодаря нашей настойчивости это удалось, но каждый раз местные власти настаивали на том, что нам нужно как можно скорее убираться из их страны, ехать куда угодно, хоть обратно в Россию, где «большевикам вроде нас было самое место». Почти все местные чиновники были как под одну гребенку: очень молодые, но при этом неотёсанные, надменные и чванные до омерзения, словно должность, подобно свалившемуся на них богатству, ударила им в голову.

Наконец на мрачном горизонте замаячил проблеск надежды: из Берлина сообщили, что всё улажено — немецкий консул в Риге дал указания выдать нам визы. Мы поспешили в консульство, однако там сказали, что вопрос с визами действительно решён, но сначала нужно послать наши документы в Берлин, а сами визы мы получим через три дня. В назначенный срок парни в прекрасном настроении снова явились в консульство, уверенные в том, что на этот раз виза уже готова, но когда они вернулись, по их лицам легко можно было догадаться о том, что нам отказано.

И снова нужно было хлопотать о продлении нашего пребывания в Латвии. Угрюмые юнцы в кабинетах долго колебались, но все-таки позволили нам остаться еще на двое суток, предупредив, что по истечении этого срока мы должны уехать, независимо от того, будут ли у нас какие-либо другие визы. «Значит, поедете обратно к себе», — безапелляционно заявили они. К себе? Куда? Где тот город, та страна, которые мы сможем назвать своими? Война отобрала у нас извечное право на пристанище, а большевизм превратил Россию в тюрьму. Мы не могли вернуться туда, да и не стали бы этого делать, даже если бы и могли; единственным выходом было отправиться в Литву, что мы непременно и сделали бы, если бы не опоздали на поезд.

Однако Цветков и слушать об этом не хотел: Литва — это западня, заявил он; оттуда невозможно попасть в Германию, и в Ригу вернуться мы тоже тогда не сможем. Он устроит нам нелегальный переход — у него есть знакомые фрахтовщики, у которых в команде есть синдикалисты, и он обо всём договорится. Но выдержит ли Эмма? Я рассердилась: что за намёк? Неужто я не такая терпеливая, как парни? «Так ведь ты же кашляешь, а это может всех вас выдать!» — воскликнул он, но я возмущалась так бурно, что наш друг немедленно отправился договариваться со своими знакомыми. Хорошо еще, что это ему не удалось: назавтра, в последний день нашего пребывания в Латвии, пришли шведские визы, выхлопотанные синдикалистами в Стокгольме — господин Брантинг, премьер-министр Швеции по должности и социалист по партийной принадлежности, оказался порядочнее своих немецких коллег.

Вместе с Цветковым и госпожой С., сестрой Александры Шаколь, тоже подружившейся с нами и даже снабдившей нас огромной корзиной с едой в дорогу, мы отправились на вокзал и сели на поезд до Ревеля. Когда он тронулся, мы с облегчением вздохнули: закончилась хотя бы суета с визами! Но едва наши друзья скрылись из виду, к нам подошли трое, представившиеся агентами латвийской сыскной службы, и потребовали предъявить паспорта. Как только мы достали документы, они сразу же их отобрали, заявив, что мы арестованы. Мы тщетно протестовали, уповая, что нас можно было арестовать еще в Риге — поезд остановился, и нас со всеми пожитками пересадили в уже поджидавший автомобиль, который кружным путём поехал в город. Перед большим кирпичным зданием машина остановилась, и мы не смогли скрыть удивления: всего в нескольких шагах от него стоял дом, где находилась квартира Цветкова, в которой мы жили. Сейчас же нас привезли в отделение политической полиции, и неуклюжие манёвры здешних властей, пославших на вокзал трех человек и машину, когда всё это время мы были буквально расстоянии вытянутой руки, изрядно нас рассмешили.

Нас по очереди заводили в кабинет и расспрашивали о «большевистских взглядах»; я сказала чиновнику, что, хоть и не большевичка, обсуждать с ним этот вопрос отказываюсь. Наверное, он сразу понял, что со мной у него ничего не выйдет, и велел отвести меня в другую комнату. В ней было полно каких-то служащих, которым, по всей видимости, было нечего делать — они сидели и разговаривали; у меня же была книга, и, подобно тому, как это бывало прежде, я погрузилась в чтение, и даже не заметила, что все вышли, и я осталась одна.

Спустя еще час мне стало немного не по себе: что там с моими спутниками? Правда, сильно я не беспокоилась — Саша был закалённым бойцом, умевшим найти выход из любого положения, да и Шапиро нельзя было назвать новичком в отношениях с полицией. Еще во время войны, когда он был редактором лондонской еженедельной газеты на идише *Arbeiter Freund* («Друг рабочего»), ему на полгода пришлось передать свои обязанности интернированному Рудольфу Рокеру, потому что сам он был арестован за статью, причём написанную не им. Он был осторожен и невозмутим, да и вообще, что бы с нами ни случилось, мы можем хотя бы бороться и тем самым послужить нашим идеалам.

Вскоре кто-то прервал мои размышления. Передо мной стояла крупная женщина в полицейской форме, заявившая, что пришла меня обыскать. «Серьезно? — деланно испугалась я. — Да за те три часа, что я здесь сижу, можно было уничтожить любую улику, в чём бы нас ни подозревала полиция». Однако мои насмешки ничуть ее не задели: она велела мне раздеться догола и обыскала мои вещи, но когда она подошла ко мне с намерением обыскать меня саму, я влепила ей пощечину. Она пулей вылетела из комнаты, крича, что сейчас приведёт мужчин, чтобы они сами обыскивали эту сумасшедшую, и тогда, чтобы не шокировать джентльменов, я оделась.

На удивление, пришел только один и вежливо попросил меня следовать за ним в камеру. Запирая за мной дверь, он многозначительно указал на соседние камеры, что должно было означать: мои друзья там. Эта приятная неожиданность принесла мне значительное облегчение: хоть я и была в одиночной камере, но чувствовала себя свободной и умиротворенной как никогда, по крайней мере, за последние два года. Я перестала быть машиной, вновь обрела дух и вернулась туда, где была прежде — в борьбу; к тому же рядом со мной, отделённые всего лишь каменной стеной, были друзья. Я наконец-то была счастлива и вскоре забылась крепким, глубоким сном.

Назавтра меня вновь повели на допрос, но на этот раз со мной беседовал совсем юный следователь — ему явно еще не было тридцати, и оттого, пытаясь казаться старше, он чрезвычайно важничал. Ему не терпелось узнать о нашей тайной командировке в Европу, в которую нас отправили большевики, а также о том, почему мы так долго оставались в Риге, с кем здесь общались, и что стало с документами — ему известно, что мы провезли их в Латвию. Я ответила ему, что он слишком молод и неопытен, чтобы допрашивать столь закоренелую преступницу, как я, и потому не доверила бы ему ни единого секрета, даже если бы они у меня и были; хотя в одном я всё же ему признаюсь: я анархистка, а не большевичка. По его озадаченному лицу было понятно — он не видит между этими понятиями никакой разницы, и я пообещала после отъезда из Латвии прислать ему анархистской литературы; взамен же он тоже мог бы оказать мне любезность и рассказать, за что нас арестовали.

Юноша пообещал сделать это в ближайшие несколько дней и, как ни странно, сдержал слово: за день до Рождества он зашел в мою камеру и сказал, что «произошла досадная ошибка». Мне уже осточертела эта фраза, и я еле сдержалась, а он продолжал: «Да, ошибка, но повинны в этом ваши друзья-большевики, а не мое правительство». Я расхохоталась: «Советы выдали нам паспорта и позволили уехать. Зачем им нужно, чтобы мы оказались в латвийской тюрьме?» «Я не имею права раскрывать вам государственную

тайну, — ответил он, — но это действительно так», и прибавил, что мы и сами вскоре в этом убедимся; правда, с нашим освобождением есть заминка: необходимо соблюсти некоторые формальности, а все начальники уже разъехались. Я усмехнулась и сказала, что это не суть важно: за всю жизнь мне довелось пробыть в заключении немало дней, да и сам Иисус рано или поздно оказался бы в застенке, буде ему случилось бы попасть в христианский мир, отчего моего визави покорило — как и подобает будущему прокурору, он оказался весьма набожным.

Охранник, которого я слегка подмаслила к празднику, купил фруктов, орехов, пирог, кофе и банку сгущенного молока — да, это была непозволительная роскошь, но мне очень хотелось приготовить рождественский ужин для друзей из соседних камер. Мне даже позволили воспользоваться тюремной кухней, расположенной на том же этаже, и я то и дело придумывала повод сходить к себе в камеру и обратно, напевая при этом: «Христос воскрес, возрадуйтесь, безбожники», а заодно и шепнуть пару слов товарищам, которым охранник чуть позже передал по коробке с лакомствами и большой термос с горячим кофе.

Наконец нас освободили, рассыпаясь в извинениях. Друзья рассказали мне о своих приключениях: их тоже раздевали догола, разорвали подкладки их плащей и выпотрошили чемоданы — искали секретные документы, которые мы якобы везли. Было забавно наблюдать, как напряжение на лицах полицейских постепенно сменяется разочарованием. Саша, этот прожжённый бандит, ночью сумел подать знак зажженными спичками парню, читавшему у окна в доме напротив, и бросал записки, пока тот не поднял одну из них; мой друг надеялся, что ему удастся связаться с нашими соратниками в городе. Шапиро же то и дело стучал мне в стену, и я исправно отвечала, но он так и не понял, что я имею в виду. «Если честно, старик, я тоже ничего не поняла, — призналась я. — В следующий раз условимся о шифре». Шапиро рассмеялся: возможно, я и не знаю, как перестукиваться, но готовлю отменно. «О, это да! Тут ей даже тюрьма не помеха!» — вклинился Саша.

2 января 1922 года мы выбрались из Ревеля, во избежание повторения рижских злоключений решив воспользоваться не поездом, а паромом, а до отхода гуляли по этому старинному и живописному городу. По счастью, в Стокгольме нас встретили без оркестра, речей и демонстраций — пришли лишь несколько товарищей, искренне радовавшихся нашему приезду. Альберт и Элиза Йенсены благополучно провели нас мимо стаи американских газетчиков — не то чтобы я не хотела приветствовать своих заклятых врагов, которым не терпелось в очередной раз солгать обо мне и России; нет, просто сначала мне нужно было выразить всё, что я думаю, за собственной подписью. Теперь у нас был доступ к ежедневной синдикалистской газете Stockholm Arbetaren («Стокгольмский рабочий») и анархистскому еженедельнику Brand («Пламя»), и нам не нужно было давать интервью репортерам, чему мы были искренне рады.

Письмо из Берлина прояснило причину внезапного изменения настроения немецкого консула в Риге и пресловутых намёков латвийских чиновников о «наших друзьях-большевиках» — оказывается, некий чекист предупредил его о том, что мы якобы опасные заговорщики, имеющие целью попасть на анархистский конгресс. Власти прекрасно знали о том, что мы в Риге, о неоднократных продлениях наших виз, и вряд ли стали бы тянуть с арестом до нашего отъезда — разве что в последний момент им стало известно то же, что и

консулу. Но поскольку все настаивали на том, что у нас должны быть секретные документы, а обыски были предельно тщательными, скорее всего, на нас все-таки донесли наши друзья из Кремля.

Я с ужасом осознала, насколько сильно меня держат большевистские предрассудки: прекрасно зная природу этого зверя, тем не менее, я бурно протестовала против наветов латвийских чиновников на советский народ. Проведя без малого два года среди большевистской неразборчивости, я всё же не могла допустить такого иезуитства с их стороны — выдать паспорта и одновременно сделать невозможным въезд в любую другую страну. Только теперь я стала понимать, что означали те самые слова Литвинова о том, что «... капиталистические страны не примут вас с распростертыми объятиями». Но зачем тогда нам позволили покинуть Россию?

Мои спутники сказали, что причина лежит на поверхности: если бы нам не дали разрешения на выезд, это вызвало бы волну протестов за границей — как в случае с Петром Кропоткиным. На самом деле он никогда и не пытался уехать из России, но даже слухи о том, что ему не позволяют этого, подняли всё революционное и либеральное сообщество за рубежом, и Кремлю пришлось отвечать на неудобные вопросы. Конечно, Москве не хотелось повторения подобного скандала, а если бы нас арестовали в России, он, несомненно, случился бы; с другой стороны, ЧК было известно о том, что мы думаем о диктатуре, об участии иностранных гостей в судьбе голодавших в Таганской тюрьме, и нас просто нельзя было оставлять на свободе. Так что лучше всего было бы позволить нам уехать — это не только выставило бы Советы великодушными, но и извало бы нас в грязи — вот что думали наши берлинские товарищи, тем более, что немецкий консул в Риге рассказал своему дяде, известному социал-демократу Паулю Кампфмайеру обо всех тёмных чекистских делишках.

Шведские анархисты и синдикалисты не сомневались, что нам позволят оставаться в их стране, сколько мы пожелаем, публикуя наши заметки и воспоминания о пребывании в России — и Stockholm Arbetaren, и Brand были бы рады их напечатать. Однако мы с Сашей считали, что больше всего прав на нас у США — там мы сражались последние тридцать с лишним лет, там, на беду или на счастье, мы были известны и могли достучаться до более широкой аудитории, чем в любой другой стране. Тем не менее, мы были готовы дать интервью обоим изданиям, призвав в них к солидарности с российскими политзаключенными и ссыльными.

Но не успела появиться первая статья, как господин Брантинг через своего секретаря уведомил Синдикалистский комитет, выхлопотавший нам шведские визы, о том, что «публиковать русских не рекомендуется». Да, Брантинг был социал-демократом и выступал против большевиков, но он также был и премьер-министром, а Швеция как раз в это время обсуждала возможность признания советского правительства, которое теперь шло на сближение с социал-демократами (хотя еще вчера большевики называли их предателями и контрреволюционерами). К тому же в реакционной прессе поднялась волна осуждения Брантинга за предоставление убежища анархистам и большевикам — здесь имелась в виду Анжелика Балабанова, которая тоже находилась в Швеции. Нам же сообщили, что виза действительна еще месяц, по истечении которого нам очень желательно отряхнуть прах

Швеции со своих революционных ног. Бедняга премьер всеми силами пытался утихомирить бурю, добиваясь нашего скорейшего отъезда; разумеется, выгонять нас не станут, сказал его секретарь, но нам лучше бы поискать иное пристанище.

Повсюду — по меньшей мере, в полудюжине стран — усердно хлопотали по нашему вопросу. Ребята в Берлине возобновили свой натиск на чиновников, в Австрии ради нас из кожи вон лез наш старый товарищ доктор Макс Неттлау; раздобыть нам визы пытались и в Чехословакии, и во Франции, правда, в Дании и Норвегии нашим единомышленникам товарищам сразу сказали, что «номер не пройдет». В общем, ситуация была отчаянная, тем более, что после месяца проживания в стокгольмском отеле мы почти обанкротились. Меня пригласили пожить гостеприимные Йенсены, у которых была двухкомнатная квартира, и я согласилась, ибо думала, что это ненадолго; Саша же снял комнату в одной шведской семье, жилище которой было слишком тесно даже для них самих.

Он то и дело сетовал, что отказался ехать через Минск — выпрашивать паспорта в Москве было глупостью. В любом случае, он больше не станет просить визу и поедет без каких-либо уведомлений и разрешений, а я могу поступать, как сочту нужным. Отношения между нами испортились: всему виной стал спор о том, должна ли я публиковать в New York World серию статей о Советской России. Стелла телеграфировала, что это издание жаждет напечатать повесть о моих похождениях в России, и его рижский корреспондент подтвердил это, присовокупив, что его коллеги несколько раз пытались связаться со мной еще в Москве. Но если бы я и знала об этом, и даже имела возможность беспрепятственно отправить этот материал из РСФСР в Америку, тогда я всё равно отказалась бы писать для капиталистической газеты, тем паче на такую животрепещущую тему, как Россия. Точно так же я не стала рассматривать предложение, поступившее через Стеллу, написав ей, что предпочитаю печататься в либеральной и рабочей прессе Соединенных Штатов, и с радостью отдам статьи без оплаты туда, чем позволю им появиться в New York World или подобных изданиях за любые деньги.

Стелла предложила Freedom статью о мученичестве Марии Спиридоновой, но ее завернули; то же происходило и в других либеральных изданиях США, и я поняла: меня не только заклеили парией, но и не позволят более высказываться — слишком долго я молчала. Оказавшись свидетельницей убийства революции, слыша ее предсмертный хрип, видя, как перестает притворяться диктатура, два этих года я всего лишь взвешивала факты, добавляла их в летопись большевистских преступлений, и затем била себя в грудь с криками: «Грешна, грешна!» В Америке я писала о большевиках, чтобы поддержать их, искренне и непредвзято полагая, что они защитники революции; неужели теперь, когда я знаю правду, мне придется молчать? Нет, я должна говорить, кричать на весь мир о грандиозном, колоссальном обмане, прикинувшемся правдой и справедливостью.

Так я и сказала Саше и Шапиро. Они тоже собирались высказаться, а Саша даже успел написать несколько статей об эволюции большевистского режима, и они уже публиковались в анархистской прессе. Но оба моих товарища по несчастью были уверены: рабочие не поверят моему рассказу, если он будет напечатан в капиталистической газете вроде New York World. Меня не впечатлили возражения Шапиро — это был старый аскет, всегда осуждавший анархистов, которые писали для буржуазных изданий, хотя так поступали

почти все наши более-менее известные товарищи; но Саша знал, что многие рабочие, особенно в Соединенных Штатах, читают только капиталистические газеты и не видят различий между революцией и большевизмом.

Такая позиция очень меня задела, и мы спорили днями напролет. Прежде я неоднократно писала для New York World и других изданий подобного толка; разве то, что и как говорит человек, не важнее того, где он это говорит? Саша настаивал, что в данном случае это некорректное сравнение: всё, что я опубликую в капиталистической прессе, реакционеры непременно используют против России, и за это меня справедливо осудят мои же товарищи. Да я и сама прекрасно это понимала: не я ли бичевала Брешко-Брешковскую за ее речи под крылышком буржуазии? Поэтому ничто из сказанного товарищами меня так не задело, как намёк на угрызания совести за критику Бабушки, полвека посвятившей подготовке революции, но использованной Коммунистической партией в собственных целях. Она была свидетельницей великой катастрофы, пока я находилась от нее в тысяче миль, и, тем не менее, мне не терпелось подбросить и свой камень в кучу булыжников, которыми запускали в нее в Америке. Именно поэтому я должна сейчас обязательно высказаться.

Но Саша утверждал, что это нужно делать посредством брошюр, которые распространят наши товарищи. Несколько статей он уже начал писать, часть уже вышла, и три из них напечатал социалистический ежедневник New York Call. Почему я не могу поступить так же? Товарищи из Международной федерации помощи в Соединенных Штатах тоже настаивали на том, что рассказывать миру о России нужно не в капиталистической прессе — это может навредить делу; впрочем, их мнение мне было безразлично, а вот с Сашей всё обстояло иначе: всю жизнь он был моим товарищем по оружию, моим соратником в сотнях сражений, которые закалили наши тела и проверили на прочность души. В России на почве «революционной необходимости» наши пути разошлись, но разрыва меж нами не случилось; Кронштадт же прояснил наши мысли и снова сблизил нас. Теперь мне было невыносимо трудно от того, что моё мнение было противно взглядам моего друга, и это противостояние внутри меня длилось вот уже несколько недель — самых трудных в моей жизни. Но сквозь эти душевные метания в голове у меня стучала одна фраза: я должна быть, я буду услышана, пусть даже это случится в последний раз! И вот я телеграфирую Стелле, чтобы она передала семь моих статей в New York World ...

По счастью, я не стала изгоем: меня поддержали и «великий старик» Эррико Малатеста, и Макс Неттлау, и Рудольф Рокер, и лондонская группа Freedom, а также Альберт и Элиза Йенсены, Гарри Келли и другие товарищи, чье мнение я ценила. Я бы взошла на эту Голгофу в любом случае, но было отрадно знать, что мое мнение разделяют и другие люди, тем более такие.

Но я находилась слишком далеко, и не могла сама увидеть, какой гнев вызвали мои статьи в большевистских и коммунистических кругах. Судя по отзывам, кровожадностью они превосходили южные штаты, когда там линчевали чёрных. Один из примеров был особенно показателен: когда-то Роуз Пастор Стоукс была горячей моей последовательницей, теперь же она искала добровольцев, чтобы сжечь Э.Г. или хотя бы ее чучело. Вот было бы зрелище: председательница собрания запекает «Интернационал», а присутствующие держатся за руки и танцуют вокруг пламени, под мелодию освободительного гимна, пожирающего тело

Эммы Гольдман!

Не стоило также беспокоиться по поводу навязших в зубах обвинений в том, что я отреклась от революционного прошлого, исходивших от людей, у которых вообще не было прошлого. А вот то, что в *New York World* не оценили моё литературное дарование так, как хотелось адептам коммунизма, меня, признаться, задело: газета заплатила мне несчастные триста долларов за каждую статью, или две тысячи сто долларов за все семь, тогда как коммунистический хор возвещал, что предательнице Э.Г. заплатили тридцать тысяч долларов. Жаль, что это не было правдой: тогда я передала бы хоть часть этих средств русских политзаключённым, страдавшим от холода, голода и отчаяния в тюрьмах и ссылках большевистского рая.

Под давлением шведских синдикалистов Брантинг продлил нам визы еще на месяц, но дальше оставаться в Швеции было уже невозможно. В других странах ничего не получалось, и Саша с Шапиро решили брать быка за рога. Последний вскоре уехал, и Саша должен был поехать следом; но тем временем один пражский товарищ выхлопотал мне чешскую визу, и я просила Сашу подождать — а вдруг получится сделать то же и для него, но даже один намёк на это привел его в ярость.

Он тайком пробрался на трамповое судно, но прежде чем оно отчалило из Стокгольмского порта, пришла весть из австрийского консульства: нам все-таки выдали визы. Перепугавшись, что корабль может отдать швартовы до того, как документы будут у меня на руках, я просила шофёра такси мчаться в порт, плюнув на все ограничения скорости. Виза действительно оказалась готова, причем для всех троих, но при ней было требование австрийского министерства иностранных дел о даче письменного обязательства не заниматься политической деятельностью в этой стране. Я не собиралась давать такую подписку, и была уверена, что парни на это тоже не пойдут, но не могла выдать того, что один из них уже тайно выехал из страны, а второй вот-вот это сделает, и потому сказала консулу, что посоветуюсь с товарищами и вернусь с ответом завтра. Это было всего лишь полуправдой: я должна была застать Сашу — город накрыла буря, и отход судна задерживался на двое суток, что дало мне возможность послать на борт записку об австрийской визе. Я не ждала, что он примет это предложение, но полагала, что ему следует знать об этом. Некий юный швед, единственное мое утешение в мрачном Стокгольме, сообщил, что Саша передал, что не станет менять своих замыслов; потом я долго бродила вокруг порта, проваливаясь в глубокий снег, чтобы хотя бы на прощанье снова стать ближе к человеку, судьба которого всё это время была неразрывна с моей.

Через неделю после отъезда Саши я тоже решила уйти нелегально, и со своим юным спутником отправилась на юг Швеции, чтобы попробовать добраться до Дании. Два моряка, новые знакомцы моего друга, согласились помочь за триста крон, что составляло около ста долларов, но в последний момент потребовали двойную оплату; я засомневалась в их надежности, и мы отказались от их услуг.

Затем мы нашли человека, у которого была моторка. Нам было велено оказаться на ней до полуночи: «дама должна лечь на дно и накрыться одеялом, пока инспектор не совершит обход». Я так и поступила, но это оказался не инспектор, а полицейский, и нам пришлось

